

**МАРК
ВАСИЛЬЕВИЧ
БОЙКОВ**

ВОЙНА В КОСТЯХ
МОИХ...

Русский национальный бестселлер

Марк Бойков

Война в костях моих

«ИП Березина Г.Н.»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Бойков М. В.

Война в костях моих / М. В. Бойков — «ИП Березина Г.Н.»,
2020 — (Русский национальный бестселлер)

ISBN 978-5-00153-089-3

Эта книга – повествование о трудном детстве в тяжелое для всей страны военное время. Автор показывает правдивую, трогательную и жестокую атмосферу среднерусской глубинки того времени. Это – исповедь от сердца маленького ее участника, в душе и судьбе которого война оставила глубокий след. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00153-089-3

© Бойков М. В., 2020
© ИП Березина Г.Н., 2020

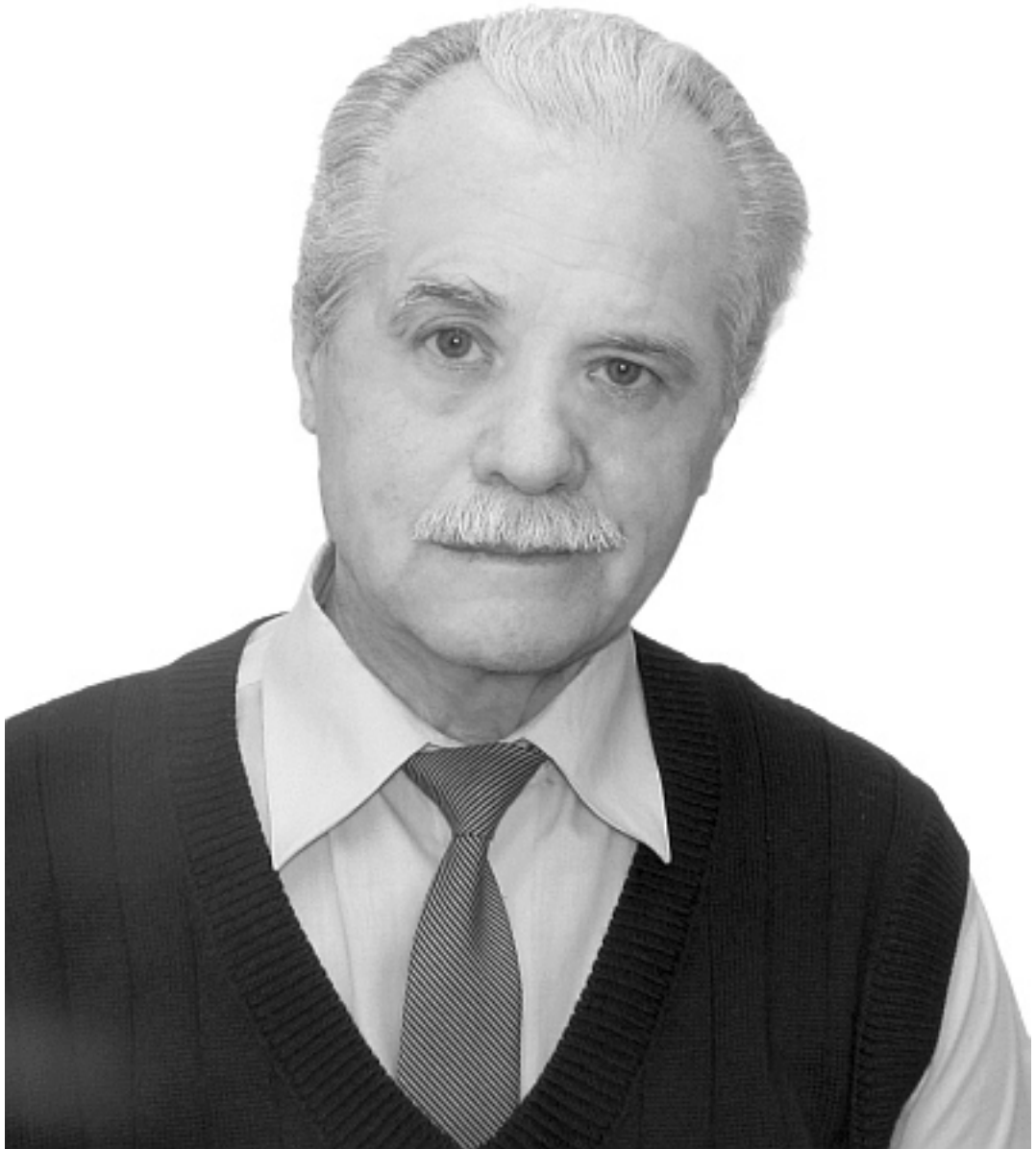
Содержание

Война в костях моих...	7
Сто граммов	8
По миру	13
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Марк Васильевич Бойков

Война в костях моих...

Марк Бойков



Родился 12 сентября 1938 г. в с. Писцово Комсомольского р-на Ивановской области. Раннее детство прошло в детдоме, откуда по возвращении из госпиталя после войны был взят в 1947 г. в семью отца в г. Иваново и опекавшей его медсестры, мачехи для меня.

В 1950-м, после 3-его класса школы, поступил в Горьковское СВУ, которое, всвязи с переводом, окончил в Москве в 1958-м. Далее был направлен в Одесское высшее общевойсковое командное училище. В 1960 г. по состоянию здоровья был демобилизован из рядов Советской Армии.

Профессиональное образование получил на философском ф-те МГУ им. М. В. Ломоносова в 1961–1966 г. г. Далее работал преподавателем философских дисциплин в Волгограде и Москве. Будучи исключенным из КПСС за «незрелые в партийном отношении» взгляды 22 года проработал дворником, совмещая прямые обязанности с почасовой преподавательской работой в институтах.

Вырастил сына. За безупречную работу дворником награжден медалью к «850-летию Москвы».

Война в костях моих... *(Повесть детства)*

Пишу только правду. Ничего, кроме правды.

Эта повесть для тех, кто хоть раз в своей жизни был маленьким и не все забыл из того чудного времени.

Мое детство протекало в войну. И другого времени на него у меня не было. Оно могло быть лучше, но я этого не знал. Да и кто знает, что значит «лучше»? Жизнь сама по себе – бесценный дар. Ее дают просто так. Ни за что! Как же можно желать большего?

Я был на войне и помню ее. Помню по-своему. Не разрывами бомб, не свистом пуль, не испугом перед чужой речью. Я помню ее постоянным ощущением голода.

Есть хотелось всегда, даже после того, как поели. Моя война была войной с голодом: хоть как-то, хоть где-то, хоть чем-то наполнить желудок, сосущий мое сознание, просящий есть.

Часто, взявшись с братом за руки, который, как и сегодня, был на полтора года младше меня, но тогда эта разница была огромна, мы ходили окрест в поисках чего-нибудь хорошего. Съедобного! Он помогал, и мы находили... На убранном поле – кочерыжку от капусты. В школе, где после уроков убиралась мать, в какой-нибудь парте – недоеденную картофелину. В огороде по соседству – недозрелую помидорину. На проходных лужайках – семенные колоски подорожника. На кладбище, на заросших могилах – землянику, особенно сладкую. Но чаще на базаре – огрызки от огурцов, моркови, яблок.

Времени у нас было много. Как у птичек. Мы и копошились, словно воробышки, где придется. Ели, что попадалось на глаза. Ели постоянно и все время были голодны. Ели без особого разбору, а нас ели паразиты, что попадали в наши животы. И, кажется, они нас ели быстрее, чем мы успевали чем-нибудь наполнить наши желудки. У нас разбухали животы. Но есть хотелось все больше.

И что же? Нет, мы не горевали. Мы были детьми и всегда радовались удаче. Дети – самый сильный народ на свете. Как бы худо, лихо, трудно им ни было, не помнят зла. Они ссорятся, но не враждуют. Вмиг отзывчивы на ласку, с легкостью доверчивы к доброте. Безоружные перед лишениями, они встречают улыбкой любое облегчение, приветливость, призыв к игре. И забываются голод и болячки! Даже картина со страшным зверем на стене, который следит за тобой, куда бы ты ни повернул, теряет свое магическое действие!

Я помню все это, словно это было вчера. Я не помню, который шел год. В этом я не разбирался и считать не умел. А когда меня спрашивали, сколько мне лет, я показывал обычно растопыренную пятерню с каким-нибудь согнутым пальцем. Делал это покартиннее, потому что замечал, как взрослые становились веселее и похваливали мать за мою сообразительность. Я не знал только, что я не один такой.

Сто граммов

Мы – это мама, я и Бориска – живем в Писцове, в просторном брошенном доме, напротив милицейской конторы и конюшни. Летом в нем хорошо, не жарко. Стекол в окнах мало – их заменяют фанерки, в щелях проклеенные газетами или подбитые лоскутками. В них дуют ветры и струится свет. Поэтому у окон никто не спит.

Кроватей в доме всего две, а жильцов много. На одной из них у стены спит мама с Борей. Для меня приставляют стулья спинками наружу. Чтобы не упасть. Вторая кровать, у противоположной стены, принадлежит тете Мане, грузной, дебелой, рыхлой старухе, которую я зову «баба Маня» и к которой мы, дети, равнодушны, потому что она очень мягкая и очень добрая.

В доме большая перенаселенность. Взрослых да старых больше, чем пальцев на моих двух руках. Спят они – кто, где и как попало. На сундуке. На составленных ящиках или табуретках. На лавке из двух широченных досок. А то и прямо на полу, на куче тряпья или сена, покрытого старой скатертью. Есть еще кошка, которую никто не кормит, – и она прекрасно справляется с мышами. А уж тараканы и клопы – не в счет. Мама наша смеялась на них: «Это не жильцы, а приданое». Чего мы с Борькой понять не могли, но, бывало, охотились на них и потом подсовывали кошке.

Самый теплый угол – у печки. Еще до нас его захватил сухонький, желтокожий старикашка. Он единственный, не считая нас с Бориской, мужик в доме. В углу у него было свалено всякое рваньё из пальто, одеял, тулупа и даже валенки, и он лежал на всем этом почти безвылазно.

Старик, надо сказать, пугал меня своей неподвижностью. Он никогда не вставал на ноги, и я не видывал, чтобы он что-нибудь жевал. А его выходы во двор наводили на меня ужас. Он двигался на четвереньках, накрывшись черным покрывалом, размеренно, как большое бревно на невидимых катках.

Помню однако, как однажды в один из таких выходов женщины рассмеялись, некоторые до слез, показывая друг дружке в его сторону, при всем том, что было весьма сумеречно. Я тоже посмотрел в его сторону, но ничего не понял. Ведь все было как обычно. И только когда старик переваливал через высокий порог и дружный хохот, с повизгиванием, расколол, казалось, слипшийся воздух, все прозрачно обнажилось. Из-под черной бархатной накидки, съехавшей к прогнувшейся спине, сквозь напрочь протертые штаны проглядывала белая натура сухонького зада с болтающимися мужскими достоинствами. Мне это не показалось смешным, но ужас покинул меня. И я стал присматриваться к старику с любопытством, без страха. Дети вообще ведь ко всему любознательны, чтобы знать, что от чего можно ждать.

Хотя жильцов было много, но большой дом, в четыре окна с лица, почти всегда был пуст. Женщины разбредались по утрам кто куда: помоложе – на работу, престарелые – на розыски пропитания. Собирались лишь к ночи. Разговаривали мало – больше говорило радио. Жили без особого дружелюбия, но достаточно мирно.

Лишь однажды случился крупный скандал, перепугавший нас с Борей (матери в этот момент не было) чуть не до смерти.

Подрались две женщины. Подрались крепко – до крови и рванья волос. Причем больше досталось молодой женщине с грудным младенцем, которого она положила на кровать тети Мани и который ревел как резаный. На шум прибежали не милиционеры, дом которых был рядом, а совсем чужие, прохожие. Они и уgomонили дерущихся.

Поздно вечером при свете тусклой лампочки состоялся общий, напряженный разговор. Тут я впервые услышал голос старика. Он сидел в своем углу, говорил глухо, спокойно, без злобы. Потом с какой-то стати назвал мое имя, глянул на меня и широко улыбнулся почти без-

зубым ртом. Другие говорили запальчиво, досказывая руками то, что не получалось гласом. И я, мало-мальски соображая умишком, постепенно понял, что женщине с грудничком досталось поделом. Все осуждали ее. Она плакала, о чем-то просила, что-то обещала. Но утром собрала свои пожитки, упаковала младенца и ушла. Больше я никогда не видел ее.

Объяснялось все просто, одним словом, которое то и дело срывалось у многих, но которое я не очень-то понимал: воровка. Бранясь, женщины даже показывали на нас с Борькой. Мать потом сказала, что это нас ставили в пример. Но что мы? Мысль о воровстве нам еще и не могла прийти в голову. Маленькие, мы, естественно, не блудили. Понуждаемые голодом, мы искали лишь то, что брошено, а не то, что спрятано. Из чего потом спустя много лет я сделал вывод, что люди в принципе рождаются хорошими. Плохими их делают обстоятельства.

Из всех жильцов только мы с мамой были местные. Я узнал это от матери на другой день. Именно, когда нас убавилось, у меня и возник вопрос: «А откуда мы все здесь?» Мать ответила: «Мы – погорельцы, а другие – беженцы».

«Погорельцы» – мне было понятно. А вот «беженцы» – никак. Мать долго растолковывала мне, но тщетно. «Бежать» для меня значило одно: бегать, то есть так сучить ногами, чтобы пятками по попе доставалось. А уж какие беженцы могли получиться из тех, кто в углу лежит, передвигается с одышкой или с ребенком мается? Я даже поспорил с матерью, уверяя, что не все могут быть беженцами. Мать посмотрела на меня пытливо, а глаза, надо сказать, у нее были красивые, и ответила:

– Не пойму, Марик, упрямый ты или бестолковый? Видать, в отца пошел!

Тогда я уже догадывался, что взрослые плохо понимают детей. И был прав. Дети в большей степени плачут именно из-за этого. Когда я вырос и у меня свой появился малыш, я еще более утвердился в этом, хотя и стремился ставить себя на его место. Но тогда изгнание женщины с грудничком встревожило меня. Мне вообще было жалко тех, кто плачет, и еще жальчее – кто сильнее плачет. Я не все мог определить, назвать словами, но за слезами чуял беду. И долго размышлял о происшедшем. Одно только не укладывалось в моей жалости: я не мог вспомнить ни одного взгляда, ни самих глаз той женщины. А дети, как и все наши братья меньшие, все узнают по глазам. Их-то и не хватало мне на лице беглянки, чтобы успокоиться.

Лето в ту годину стояло ленивое, жаркое, затяжное. Мы с Бориской, пока мать была на работе, обживали мир. Мы знали дорогу к родным бабке с дедом, к базару, кладбищу, зареченским огородам. Мир наш был небольшим, но его хватало, чтобы выжить.

Боря у меня был точно на привязи. Порой я перетаскивал его, как Аленушка братца Иванушку. Мать доверяла мне и получение хлеба по карточке, в оконце при ткацкой фабрике.

Хлеб я должен был донести домой и в целости положить в тумбочку при кровати. Это было не так уж и трудно: ведь голод был привычным. Труднее было с Борей, который, завидев хлеб, принимался выпрашивать и реветь. Мать мне наказывала, чтобы я быстро прятал хлеб в специальный мешочек, не отходя от оконца, дабы не тревожить братца. А спрашивать, что у меня там, он еще не научился.

Хлеба мы получали тогда один килограмм. Я многое мог бы рассказать о его запахе. Потом, когда совсем вырос, знавал и более вкусные хлеба. Но этот, залегший в память, неотторжим и поныне. Он присутствует, если это свежий черный хлеб, в каждом кусочке. Это доказывает животное наше происхождение лучше всяких теорем. Война обостряла животность. В животности же я находил и высшую радость, нравится это кому-либо или не нравится. В плоти, если она не бесится, не уперта сама на себе, ничего постыдного нет.

Этот килограмм мы получали на троих. На день или больше – не помню. Помню, что отстаивать приходилось длиннющие очереди. В другие разы хлеб приносила сама мать.

Но с какого-то момента внешние, за селом, дела пошли хуже. И хлеб в доме появлялся реже. Мать уже не посылала нас к фабрике. А тут вдруг послала и сказала еще, чтобы весь хлеб мы съели сами.

Я переспросил:

– А тебе оставить?

– Нет же, – ответила мать. – Там сто грамм будет. Все съешьте!

Я было возрадовался. Ведь в голове моей возникла уверенность, что сегодня-то мы наедемся и не надо будет провожать глазами остаток в тумбочку. Мать вскоре ушла, а нетерпение начало меня подгонять. Наконец баба Маня (она была нашим временем) нас отпустила, и довольно скоро мы с Бориской очутились в нужном месте у фабрики.

Но оконце оказалось закрытым, хотя народ уже толпился. Старики, дети постарше, женщины. Я не знал, как себя вести. Раньше, когда мы приходили вовремя, стояла очередь, и мы просто вставали в затылок последнему и двигались, как все. А тут... Когда оконце отворилось и все начали притягиваться друг к другу, мы заметались. Нас выталкивали, оттесняли, задавали вопросы: «чьи мы», «за кем занимали», «есть ли у нас карточка». Наконец нас приютил, поставив перед собой, благообразного вида мужчина, которого я бы охотно взял себе папой.

Перед оконцем, когда подошел наш черед, я отпустил Борину руку, вынул из кармана мешочек и подал карточку «продавальщице» (дети вообще многие вещи именуют по-своему). Женщина в затертом белом халате, с очень крупной головой и такими же большими грудями, очень ловко положила нашу карточку в одну сторону, а из другой подала мне в протянутые руки уже отрезанный ломтик хлеба.

Едва дотронувшись до этого кусочка, я оттолкнул его назад, точно ошпаренный, не поверив, что это может предназначаться нам.

– Ты что, дитяtko? – спросила «продавальщица».

– Это не мое! – огрызнулся я, точно волчонок.

– А чье же?... Сколько в карточке, столько и даю, – был ответ.

– Нам сто грамм надо.

– Правильно, столько и даю. Бери, мальчик, не задерживай...

Земля поплыла у меня из-под ног. Противная слабость дрожью прошла по коленкам.

Из горла потекла жалобная речь:

– Мы всегда брали один килограмм, а теперь – сто. Сто – больше, чем один.

Сзади слышались смешки. Я с надеждой посмотрел на мужчину, стоявшего за мной. Он посмотрел мне в глаза, мягко улыбнувшись. Я понял, что никто не понимает, как нас с Борькой здесь обманывают.

– Граждане, – высунулась из окна «продавальщица», – объясните мальчишке, что такое сто грамм. Мне тут некогда.

Почувяв неладное, Бориска уже ревел во все горло. Мужчина взял у меня мешочек, положил в него причитающийся нам кусочек хлеба, получил у большеголовой тетки свою долю и отвел меня в сторону.

Он начал толковать мне разницу между ста граммами и одним килограммом. Но я не понимал его. Поворачиваясь в разные стороны и ища поддержки, я начал всхлипывать. Бориска дергал меня за руку и просился домой, штанишки и один чулочек у него взмокли. Я сознавал разницу между «одним» и «ста», но между граммами и килограммами – никак, тем более что и звучали эти слова почти одинаково. Я отчетливо понял, что все против нас.

Так мы и пошли домой. Было очень горько. Боря ныл возле меня. А я уже и не знал, что делать с полученным хлебом. Если съесть, как разрешила мать, то мы уж не смогли бы подтвердить, как мало нам дали. А если оставлять эту малость, почти затерявшуюся в мешке, то как же нам дожить до прихода матери, если есть так хочется?

Бориска продолжал хныкать, как ему и положено было. А я мучительно размышлял над разницей того, в чем был убежден, и того, что мы получили. В отличие от матери, я успокаивать не умел, шел молча, одной рукой притягивая братца, а в другой – неся мешочек с маленьким кусочком хлеба.

Время от времени нас кто-нибудь останавливал и спрашивал, что у нас стряслось. Я отвечал, что нас обжулили, и принимался обстоятельно доказывать это, нажимая на вполне очевидную разницу «ста» и «одного». Люди, однако, попадались непонятливые, но улыбались и... в конце концов принимали сторону «продавальщицы» и всех предыдущих «объясняльчиков». Я не сдавался, пытался заново убедить их, но они, наоборот, пробовали унять нас и потом отходили. Как будто заранее сговорились.

Но то была только присказка. До прихода матери еще было далеко, а есть хотелось ой как. Бориска пообсох и, успокоившись, возился на кровати с игрушками. Баба Маня храпела у себя напротив.

– Борь, давай поедим! – предложил я.

Боря тут же сполз на пол. Я достал мешочек с хлебом и двумя руками разломил стограммовый кусочек. Получились две неравные доли. Не нарочно. Повертев их, меньшую я, не очень раздумывая, протянул брату.

Прежде мне никогда не приходилось делить. Это делала мама. А когда мы что-нибудь находили, огрызок моркови или яблока, все было проще: он куснул, я куснул – и нет ничего. А тут – своя рука владыка.

Боря мельком посмотрел на обе доли и с большим интересом уставился на большую из них. Но когда он увидел, что я ее уже закусил, он заревел, а свою, прикоснувшись, тут же оттолкнул. Как я – на прилавок продавщице. Только у него получилось – на пол.

– Ты чего свой хлеб кидаешь? – рассердился я, нутром, однако, чуя несправедливость такой дележки.

– А чего ты себе больше взял? – напрямик спросил мой братик.

– Я, чай, больше тебя, мне и надо больше, – попробовал я обосновать свой выбор.

Бориска, видать, ничего не нашел, чем крыть, и совсем расстроился. А я тем временем жевал. И вздыхал. Он плакал, а я жевал и вздыхал. Без воды в горле становилось сухо, а на душе от Борькиных слез – тошно и тягостно.

– Нельзя хлеб на пол бросать, – пытался я урезонить его, – а то волосы-то прилипнут, потом в животе вырастут. Так и помереть можно!

Бориска, как все маленькие дети, смерти не боялся. А реветь умел.

– Я маме скажу! – Вдруг он парировал мое сомнительное превосходство.

А мамы я не боялся, хотя в спорах и раздорах она чаще принимала его сторону.

– А мама так же скажет, как и я.

– Не скажет, – воспротивился Боря.

– Скажет.

– Не скажет.

– Скажет.

– ... – Борис уже не мог дальше говорить.

Он заревел навзрыд. От беззащитности. Из-за того, что моя уверенность в матери выбивала из-под него последнюю опору. Изредка так плакал и я.

Во мне все похолодело. Оттого, что все получилось не так. С покупкой хлеба, дележкой, присвоением. Съеденный кусочек не прибавил сытости, а обиду нанес. Мне стало жаль брата. Я поднял брошенный ломтик, обдул его со всех сторон, снял с него ниточку и протянул брату.

– Боря, Борь, возьми, поешь! Я больше так не буду!

– Все равно маме скажу, – ответил он, судорожно всхлипывая.

– Пойдем на базар, – предложил я, – пока баба Маня спит.

У меня созрел выдающийся план: что-нибудь найти, может, вкусное и целиком, полностью отдать братику.

– Не буду с тобой водиться! Ты плохой, – ответил братик.

Но уговоры подействовали. И на базаре кое-что нашлось. Что – не помню. Однако маме Бориска ничего не сказал. Просто забыл. В детстве все раны зарастают быстро. Да и я помог этому.

Вечером за ужином мать достала из своего узелка точно такой же кусочек хлеба, какой мы уже съели. Я оторопел: мне даже показалось, что он от той же буханки, что нам вручили у фабрики, с той же блестящей, как у ворона крыло, корочкой.

– Мам, – спросил я, – а сколько здесь килограммов?

– Да нет же, здесь всего сто грамм, – ответила она. – А вы что, свое не съели?

– Съели, – ответил я... и густо покраснел.

Так состоялось мое первое крещение общей мерой, заронившее начальные ростки ответственности, соизмерения своих желаний и чужой боли. Война шла жестокая, по всем фронтам. Понимать мир приходилось раньше, чем мы к этому были готовы.

По миру

Хлеба выпадало все меньше и реже. Уже и сто грамм бывало не каждый день.

Взрослые становились сумрачнее. Улыбались редко. Почти перестали заигрывать с нами, детьми, и чаще проходили безучастно, даже мимо плачущих. Впрочем, и плакали мы реже.

Только погода стояла независимая, нарочито хорошая. Словом, бабье лето. Поэтому нам не сиделось и круги нашего обитания расширились. Мы наши добрую делянку с горохом в заброшенном огороде сгоревшего дома. Набирали стручков куда только можно, домой приносили, мать угощали. За это она нас хвалила, кормильцами называла.

Дома, однако, я стал примечать, что баба Маня чаще обычного заговаривает с нашей мамой и при этом поглядывает на меня. Тревога моя спадала, когда я видел, что мать отрицательно покачивает головой. Но однажды она серьезно посмотрела на меня и сказала:

– Марик, ты можешь некоторое время пожить без меня?

– Как это? Что ли, ты уходишь?

– Нет, я с Борей здесь останусь, а ты с бабой Маней пойдешь. Ненадолго. Если дожди начнутся, сразу вернетесь.

– А что мне надо делать?

– Особенного ничего. Будешь рядом идти, по сторонам смотреть. Да тебе все баба Маня и расскажет. Ей до Путилихи надо. По этой дороге деревень побольше, есть и богатые. Где заночуете – покормят. Глядишь, и с собой что-нибудь принесете. Зимой нам легче будет...

Конечно, разговор этот я помню не дословно. Я помню, точнее, даже не слова, а смысл разговора. Тон, выражение глаз, наклон головы. И ощущения мои, с ним связанные. Не понимая многих слов, хотя и знакомых, я уловил, что «покормят» и еще «что-то принесем». Маленькие дети верят матери безоглядно. И ее настрой передается через чувствования. Поскольку матери захотелось доверить меня бабе Мане, этого же захотелось и мне. Я согласился.

Ранним утром, пока еще темень пряталась по углам, меня подняли. Баба Маня была уже на ногах. Мне хотелось спать. Только спать! Даже есть не хотелось.

– Мама, я не хочу... я спать буду, – жалобно лепетал я.

– Марик, надо пораньше, чтоб вас не видели.

– Как это? – сразу проснулся я. – Разве сейчас нас не видно?

Сборы были короткими. Мать вручила мне новый мешок, накинула на плечи поверх моего пиджачка свой старый пиджак (с подвернутыми рукавами). Получилось – будто я в пальто. Затем сунула в один карман вареную картошину, в другой – сухарик, поцеловала в лоб и проводила за дверь.

На улице было тихо и зябко. Светало. Но еще без солнышка.

Это было мое первое столь раннее пробуждение. Удивляло отсутствие привычной суеты. Даже петухи отзывались на переключку редко и без натуги.

Баба Маня поторапливала меня, но сама шла не шибко. Я сунул ей руку в ладонь, показывая, что ни капельки не отстаю.

Довольно быстро, быстрее, чем я с Борей, мы прошли село. Через пустырь вышли к кладбищу. Вопреки моим ожиданиям, баба Маня молчала, а я все думал, где же эта Путилиха и что нам там надо. Кладбище в это время оказалось более шумным, чем село. Птицы щебетали, щелкали, свистели. Над высокой травой порхали бабочки, комары, букашки. Их кутерьма перед глазами была точь-в-точь, как птичий гомон в ушах.

Я бросился отыскивать уж редкие ягоды на кустах малины и костяники. Баба Маня, видя такое дело, присела на первую же скамейку отдохнуть.

– Баба Маня, а если мертвых разбудить, они выходят из могил?

– Полно, Марик! Они уж никогда не проснутся. Им там хорошо, и ничего у них не болит. Только меня ты больше не зови бабой Маней.

Я остолбенел:

– А как же?

– Просто баба, бабушка. Без имени. Я все равно откликнусь.

– Ладно! – согласился я, хоть и не понял, почему так надо.

Ягоды попадались редко, а есть мне хотелось сильно. Я нащупал в кармане сухарик и принялся за него.

– Потерпи, Марик. Теперь мы есть будем вместе. Спрячь сухарик. В Бутове будет колодец, там и поедим, – поднялась, кряхтя, баба Маня и добавила: – Как ни думай, а на кладбище хорошо сидится... Ох, уж скоро ли мне-то?

Мы вышли из рощи – и я увидел, как велика, просто огромна земля за нашим селом. Вдали то там, то сям под облаками виднелись маленькие деревушки, села с островерхими церквями. Я и не подозревал об их существовании. Бутово, Сидельницы, Нерехта, Путилиха. То за лесом, то за косогором. Я слыхивал эти названия от взрослых. Но то были только слова. Теперь они были предметны. От них тянулись струйки дыма, а по земле к ним стелились дорожки.

– А где Путилиха? – поднял я глаза к бабе Мане.

– Крошечка моя, не видать ее отсюда. Бутово вон рядом – скоро дойдем. А до Путилихи несколько дней надо.

Я задумался: что же мы будем делать все эти дни?..

Чем ближе мы подходили к Бутову, тем решительнее просыпался мой голод в животе. К тому же мной овладело беспокойство: раз есть мы теперь будем вместе, то как же делить мой сухарик? Он такой маленький. Еще и твердый!

Нет, делить его мне не хотелось, и мысленно я убеждал бабу Маню, что сделать это невозможно. Пусть я съем его сам, а поделим картошину. Я ведь меньше бабы Мани, и мне, чтобы расти, надо больше... Пока я обо всем этом думал, сухарик кончился.

Позади нас первый гудок издала писцовская фабрика. В безветренном воздухе он был чистый и громкий. А навстречу по одному, по два уже шли люди. Чаше – женщины.

– А куда они, баба Маня? – поинтересовался я.

– На работу, Марик, на работу. Слышь, фабрика прогудела? Только ты все-таки помни: баба я тебе, бабушка твоя. Зови просто, баба.

– Значит, когда фабрика гудит, она зовет к себе?

– Да, сердце мое!

Мне это понравилось. И то еще, что я правильно догадался. Как здорово: никому ничего не надо говорить, а всем все понятно и делается как надо. Но меня насторожило, что баба Маня назвала меня и «крошечка моя», и «сердце мое», как раньше не называла. Она и так была добрая. Зачем же мне ласковые прозвания?

Когда мы входили в Бутово, нас крепко перепугал мальчишка, прямо на нас верхом скакавший на толстобрюхой лошади. «Поберегись!» – закричал он. Баба Маня, схватив меня за руку, заметалась из стороны в сторону, не зная, куда потянуть. Но в последний момент прижала-таки меня к забору, заслонила своим грузным телом.

– Фулюган! – крикнула баба Маня вдогонку лихачу.

– Чертоплех! – добавил я невесть откуда взявшееся у меня словцо и подпрыгнул от радости.

Мы оказались в клубках густой пыли, но довольны друг другом и тем, что целы. Баба Маня перекрестилась и спросила, почему я так обозвал мальчишку. Я ответил:

– Черт плохой!

– Надо же, – подивилась баба Маня.

Тем временем руки мои потянулись к ногам, которые через минуту горели и зудели нещадно. У забора мы угодили в крапиву.

– Ах ты, горе мое! Коротки же у тебя штанишки. Пойдем скорей к воде, родимый, – хлопотала баба Маня, а себе добавила: – Хорошие все приметы, да больно тяжело даются!

У пруда, просторно разлегшегося посреди Бутова, баба Маня примочками освежила мне ноги и свои тоже обтерла. И по одной из тропок потянула меня вверх, где чинным рядом красовались три избы. Отставая и почесываясь, я все-таки заметил колодец слева и обратил ее внимание на него, как бы намекая на завтрак.

– Вижу, Марик, Но сперва нам на базар надо, а уж потом к колодцу вернемся.

Прошли два дома, длинный забор и по растоптанной тропе повернули за угол. Глянув, я сразу понял, что перед нами базар: длинный-предлинный стол с людьми, стоящими по одну сторону и бродячими по другую. Что было и что делалось на столе, я не знал – роста на то не хватало. Но по привычке, приобретенной с Борькой, я заскользил взглядом по тому, что было под столом и вокруг него. Баба Маня дернула меня за руку и, к моему изумлению, протянув вперед другую руку, начала жалостливо просить:

– Подайте милостыню Христа ради! Пожалейте малого да старого... Уж день как не ели.

– Баба Маня! – начал я дергать спутницу, переходя на шепот. – Что ты? Мы ж не такие, не нищие. Мы в Путилиху идем...

Баба Маня наклонилась ко мне и попросила:

– Помогай, Марик! Повторяй за мной: подайте сиротам что-нибудь. Уж день как... Благодарствую, милая! Дай вам, Господи, доброго здоровья... Помолюсь, родная! Во спасение помолюсь!.. Как звать его?

Баба Маня держала в руке сверток от женщины и что-то ей горячо обещала. Та назвала имя, потом подала клочок бумаги с написанным словом, который баба Маня упрятала в тот же сверток и все вместе опустила в свой дорожный мешок.

Все это несказанно изумило меня. Далекие, незнакомые люди встретились как родные. Словно они знали, что встретятся, так легко договорились о чем-то. Мы прошли вдоль базара вперед и назад. Народу было мало, не то что в Писцове. И никто больше внимания на нас не обратил. Да и я ничего не нашел.

Ничего также не сумел я проговорить из того, о чем просила меня баба Маня. «Уж день как не ели» – было неправдой. «Подайте ради Христа» – было непонятно, потому что просили для себя. «Пожалейте малого да старого» – подходило нам больше, но жалела меня обычно мама, а от других я такого ничуть не хотел. Слова, короче, застревали у меня в горле. И говорить с чужого голоса не получалось.

Расположились мы у колодца, на лужайке. Баба Маня достала из мешка чистую белую тряпочку, расстелила ее скатеркой. На ней появились две вареные картошины, огурец, кусочек хлеба (меньше того, что мне был знаком под именем «сто грамм») и соль в бумажной завертке.

Видя так много еды, я потянулся за картошиной из своего кармана и широким жестом прибавил ее к тому, что занимало нашу самобранку.

Баба Маня сказала на это:

– Свою-то погоди есть, а вот сухарик достань. Помочишь в кружке, сейчас воды нальем, – сам и поешь. У меня зубы-то плохие: я мякишем обойдусь. А тебе еще и корочка достанется.

Машинально я взялся за карман. Но лезть туда было незачем. Остановившись, я все вспомнил. И уставился глазами в лицо бабы Мани.

– Доставай, Марик. Кутить так кутить! Или что?.. Потерял разве?

– Не-ет, – с трудом выговорил я.

И из глаз моих потекли слезы. Я заплакал без рева, задавливая голос, отфыркивая судорогу.

– Ну что ты? Что ты? Родимый! Потерял, ну и ладно, – подвинувшись ко мне и обняв за плечи, принялась утешать меня баба Маня, приговаривая:

– Да бог с ним, с сухариком.

Оттого, что меня пожалели, я зашелся еще пуще.

– Баба! – впервые я обратился к ней, не употребляя имени. – Я съел его... Нечаянно.

Обманывать, хитрить, притворяться я еще не умел, а вот чувствовать за собой вину – оттого, что описался или воздух испортил – уже приходилось. (Через много-много лет, когда я учился в МГУ, я узнал от психологов, что характер человека складывается до двух лет, а личность – до пяти. Подтверждаю – сущая правда, и это не было для меня откровением).

– Съел? Ну и пусть. Что из того? К обеду нам подадут что-нибудь. Ой! Да погоди-ка...

Она достала из своего мешка сверток, что совсем еще недавно подала нам женщина. Это было интересным, и я успокоился. В свертке оказалась записка и еда, обычная для того времени еда: две картошины, помидорина и кусок хлеба (побольше ста граммов).

– Марик, да мы с тобой богатеи!.. Видать, весь завтрак отдала нам девонька. А что в записке-то?..

В записке были вписаны фамилия и имя мужчины. Баба Маня начала что-то лепетать и причитать, закрывая глаза, потом повторила имя и фамилию мужчины, трижды перекрестилась и добавила:

– ... Чтоб вернуться ему живым и невредимым. Сохрани его, Боже!

Много раз потом в своей жизни я вспоминал эту первую нашу милостыню. Ясно, что не только завтрак отдала нам женщина. И обед тоже. Она верила, что, помогая нам, она помогает своему любимому или просто дорогому человеку; что, страдая сама, она облегчает ему тяготы и раздвигает горизонт для возвращения домой.

Люди верят в мировую связь добра и пополняют ее, надеясь, что, идя от человека к человеку, она может достичь дорогого, любимого и помочь ему. Только так я могу истолковать сегодня поступок ее жертвенности. Возможно, что я говорю о ее чувствах картиннее, чем сказала бы она. Но я потому и говорю, что часть ее милостыни осталась во мне нетленной, незабываемой частью меня самого. И я передаю эту часть другим, может, и потомкам той женщины, с тою же целью – помочь, облегчить, спасти, вернуть, сохранить.

– Приятного аппетита! – услышал я мужской голос от колодца и, забывшись, уставился в его сторону.

Однорукий мужчина в гимнастерке, каковую я уже видывал на других, ловко орудовал вертушкой, то крутя ее, то подпирая плечом. Играючи он извлекал из колодца окольцованное обручем ведро и разливал воду в свои ведра поменьше. Сегодня я сравнил бы его действия с мастерством циркача – такими завораживающими они были.

– Не могу ли чем помочь? – спросил он, прилаживая коромысло к ведрам.

– Да, водицы бы нам надо, – отозвалась баба Маня.

– Сейчас вынесу, – сказал мужчина. Вскинул коромысло с двумя ведрами на плечо и скрылся в ближайшей же калитке.

Он вернулся скоро, держа в руке большую кружку. Пустой рукав был подоткнут в подмышку, и только сейчас я до конца проникся, что мужчина – однорукий.

Он подошел к нам и протянул мне кружку. Я поднялся, взял кружку обеими руками, заглянул в нее. До краев она была полна молоком. Белым, непроницаемым, плотным. Я поднес кружку к губам, наклонил голову и впился в молоко, как комар в мягкую щеку.

Вообще на нашем с Борей столе молоко было редкостью. А это было теплое, вкусное, парное (как теперь я знаю), прилипающее к губам, сытное молоко. Я пил его долго, не отрываясь, приладившись дышать носом, не отстраняясь от кружки. Я сообразил, что, пока я пью, никто эту кружку у меня не отнимет. Я сознавал свой эгоизм и понимал, что баба Маня тоже

попила бы молока. Но взрослые разговаривали между собой, и это давало мне право не останавливаться.

Но тут баба Маня сказала:

– Не торопись, Марик, отдохни!

И, опустив кружку, я сделал глубокий-глубокий вздох.

– Значит, говорите, Дуськи Бойковой сын?.. Не внук ли деда Андрея?.. Вас-то я не знаю.

А он стекольщик отменный!.. А отец где?

– Отец – Василий, – отвечала баба Маня. – Известное дело: на войне он.

– Все мы на войне! – задумчиво поддержал мужчина.

– Ну да, на фронте, конечно.

– А куда путь держите? – спросил однурукий.

Уловив слово «путь», я тут же вставил:

– В Путилиху!

– Далеко идете, – усмехнулся мужчина. – Как бы дожди вас не застигли. Что ж, обратно пойдете – постучитесь к нам.

Я вернул кружку мужчине. Он заглянул в нее и велел допить остатки. Я посмотрел на бабу Маню. Кивком головы она подтвердила это, и я спокойно, не торопясь допил молоко уже не из чувства голода, а из вкусового удовольствия. Молоко мне понравилось и запомнилось. Где-то лет через тридцать, когда я привез своего трехгодовалого сынишку в родное Писцово и дал ему впервые кружку парного молока, я был поражен, с каким совершенно сходным удовольствием он, городской ребенок, выпил эту кружку, напоследок облизываясь. А ведь он не знал моего голода. Видно, что-то передается в поколениях. И пока мы гостили, чадо мое ни разу не отказалось от парного молока. А я всякий раз вспоминал ту алюминиевую кружку, что поднес мне вернувшийся с фронта солдат. Жилистый, ловкий, без лишних слов добрый русский человек, который (а не эти велеречивые умники или накаченные тупицы) стал для меня олицетворением мужской силы и победителя.

Оттого, что так быстро и так много я выпил молока, я попросту опьянел. Есть мне уже не хотелось. И пока баба Маня завтракала без меня, головушка моя начала клониться. Впервые за последние месяцы или год после того, как выгорели хлебопекарня и высящаяся над ней «надзорная» (за пролетающими самолетами) церковная колокольня, где мать работала одной из дежурных с большущим биноклем, я порядком наелся, и меня сразу же потянуло ко сну.

– Марик, Марик! Нам пора идти, – хлопотала баба Маня, собирая нашу скатерть-самобранку. – Поднимись, родной. Дай мне руку...

– Бабуся, а давай сразу вернемся. Зато поспим чуток, – что-то такое я выговорил и, еле еле поднявшись, уткнулся бабе Мане в зад. Возле него было хорошо, почти как на подушке. Мы тронулись.

Я шел за бабой Маней, словно козленок на привязи, то упирающийся, то тычущийся. Мы снова поднялись к базару, и, на повороте оглянувшись, мутнеющим взглядом я все же увидел, как однурукий мужчина вновь азартно играл с вертушкой колодца. Я вяло помахал ему рукой, но он меня уж не заметил.

– Баба Маня! А воды-то мы не набрали, – пискнул я.

– Нет уж, возвращаться не будем. Нехорошая это примета.

Раздались еще два гудка от фабрики. По опустевшему базару лениво прохаживались лишь собаки. За базаром деревня кончилась, а вдаль вырисовывалась другая. Я спал на ходу. Баба Маня молчала. Видимо, тоже была в полудреме...

– Тпрр-р-р! – раздалось возле нас. Послышалось лошадиное топтанье и скрип останавливающейся телеги. Я прислонился к бабе Мане, с трудом открывая сомкнутые веки.

Рядом действительно стояла телега с фыркающей лошастью, а на переднем уголке телеги сидел, свесив ноги, старик в потертой шляпе, примерно в два раза тоньше бабы Мани.

– Ну что, горемычные! Аль подвезти вас?

– Ой, да хорошо бы! – отозвалась баба Маня. – День-то нынче какой везучий!

Кое-как мы погрузились на телегу. Лошадь шевельнулась вправо-влево, и я мгновенно заснул на скомканном рукаве мамино пиджака. В сон, однако, через какое-то время ворвался троекратный фабричный гудок. «Значит, уже шесть, – подумал я. – Сейчас мама начнет меня тормошить, чтобы дать кое-какие наставления, после коих я снова могу поспать».

Меня действительно начали тормошить. Но то оказалась не мама, а баба Маня. И это бы ничего. Но я почему-то оказался не посреди привычной комнаты, а среди чужой, неведомой мне улицы. Я ошалело озирался по сторонам, а баба Маня упорно стаскивала меня с телеги, чтобы поставить на ноги. Тут я встретился взглядом с умиленно улыбающимся стариком в шляпе – и в голове моей все восстановилось.

– Во как бывает, – чтобы скорее пробудить меня к сознанию, заговорила баба Маня, – эта же лошадь, что нас чуть не сбила, Манька, тезка моя, она же и привезла нас сюда. Смекаешь, Марик?.. Когда мы в Бутово входили... Во как много зависит от того, кто рулит! Можно и помереть, а можно и выгоду поиметь.

Баба Маня говорила затейливо, но сейчас она выразилась длинно, и я не все понял.

Мы расстались со стариком и лошадей почти по-приятельски, обмениваясь похлопыванием и поглаживанием. И пошли с бабой Маней к ближайшим избам.

– Марик, помогай мне, поддакивай, – говорила баба Маня по пути.

– Помогите, говори, малому да старому, подайте поесть что-нибудь. А если будут спрашивать, кто я тебе, зови меня бабушкой, бабуськой. Ты ведь любишь меня?

– Люблю, – ответил я.

– Вот и хорошо. Так нам больше подадут. И Боре что-нибудь принесем. Ты ведь любишь братика?

– Люблю, – ответил я искренно.

Баба Маня постучала в окно первой же попавшейся по ходу избы, приговаривая: – Первая изба не та, что с краю, а та, где подадут. Протяни, Марик, ладошку перед собой.

В окошке раздвинулись занавески – и высунулась мордочка то ли девочки, то ли мальчика, постарше меня. Форточка была открыта, и баба Маня, подняв к ней голову, попросила: – Подайте Христа ради!

Мордочка повернулась в сторону, видимо, к взрослому и, вернувшись к нам, ответила:

– Бог подаст!

Рука моя, вытянутая вперед лодочкой, упала сама собой.

– Как это – Бог подаст? – спросил я бабу Маню.

– Это значит, у них нет ничего. Для нас нет... Не серчай, Марик! Пойдем дальше.

В следующей избе никто не отозвался на наш стук. А когда мы подходили к последней, вышедший из нее человек удалялся в сторону Бутово. Останавливать его уже было поздно и нехорошо.

Мы перешли на противоположную сторону. Баба Маня перекрестилась и затем постучала в окно. Но ни здесь, ни в последующих трех избах нам не повезло. Дом отвечал либо молчанием, либо прямым отказом. Чтобы не возвращаться потом назад, баба Маня решила идти как иголочка с ниточкой, пересекая улицу наискосок от избы к избе. И тут мы наткнулись на нашего возницу с лошадей Манькой и, видать, хозяином двора, тоже пожилым человеком. Они готовились к какой-то поездке: грузили на телегу веревки, пилу, старую одежду, словом, всякую всячину.

– Ну что, как дела-то? – глядя на меня и улыбаясь, спросил старик.

– Подайте Христа ради! – жалобно сказал я в ответ, как будто между нами ничего не было и мы незнакомы.

Мое обращение, видимо, явилось для всех неожиданностью. Все остановились. Баба Маня прижала меня к себе. А я опять за свое: «Подайте Христа ради».

– Пойдите-ка маленько, – сказал мужчина и пошел в дом. Какая-то неловкость пролегла между нами. Только лошадь согласно кивала головой.

– Как раз картошка поспела, – вышел мужчина на крыльцо с парящим котелком. Он слил на сторону воду, извлек из котелка несколько картофелин, три моркови и спросил у бабы Мани, во что ей их положить.

Баба Маня все приняла, уложила, поблагодарила и за что-то потрепала меня по волосам.

Расставаясь, мужчина сказал бабе Мане, чтобы мы не стучались в два кирпичных на этой стороне дома и в тот, что напротив: все равно в одном хозяев нет, а в другие – без толку: богатые, но недружелюбные.

– А что такое «недружелюбные»? – спросил я бабу Маню, когда мы вышли за ворота.

– Ну, наверно, жадные.

Так мы довольно быстро оказались в конце улицы, на краю деревни. Люди уже ходили. На стук в окно или двери отзывались охотно, но не очень дружелюбно.

Остановившись и обернувшись назад, когда небольшой обход наш закончился, я показал бабе Мане на совсем маленький кирпичный домик, стоящий в центре улицы, без окон, с невысокой железной дверью и мудреным замком, в который мы не стучались, и спросил:

– Кто в нем живет?

– Небось про лучшего думаешь? – улыбнулась баба Маня. – Нет, Марик, это – амбар, кладовка такая. Для хранения дорогих вещей. Вроде общего сундука. Пожаров-то в деревнях много бывает. Вот их и строили – каменные и отдельно от домов. Люди у себя живут, а вещи тут лежат. Но на виду. И ключ у старосты. Туда даже мышь не подлезет – с умом строили.

Я увлекся: какие же вещи там могут лежать и что значит «дорогие»? Но поскольку вопрос еще не сложился, дальше шел молча.

Солнце уже пригревало. Дорога наша вилась в глубь полей и перелесков пыльной лентой, кое-где накрываемой тенью придорожных деревьев. Мы сняли обувь, каждый повесив ее связкой через плечо, и шлепали по ней, наслаждаясь сытостью и теплом.

Удивителен все-таки мир. Удача приходит, откуда ее и не ждешь. Неудач, невезенья – больше. Но вдруг все это перекрывается с излишком в другом месте, и тревоги отступают. И ты уже видишь мир дальше колодца, базара, телеги. А он прекрасен! Удивителен и прекрасен!

Я постигал эту правду, еще не будучи способным делать заключения. Но мироощущения вливаются в нас уже с молоком матери. Я бы даже сказал, что это тоже молоко – от мира, и оно для души. Конечно, я не помню всего. Лучше запомнились первые встречи, первые дни нашего похода. Кое-что, может, было не в такой последовательности, с другими подробностями. Ведь пишу я через шестьдесят лет! И у меня внучка старше того возраста, в котором я был. Но мне ничего не надо выдумывать. В памяти гораздо больше всего, что можно доверить бумаге. Поэтому я пишу без вольностей, как велит мне правда. Много людей потом прошло по моей судьбе. Но эти, из первых встреч, мне дороги своим существом. Я таков по их воле, по их вине. Не след они оставили во мне, а частью моей стали. И рад я, что благодаря им увидел очень много и очень рано. Не как созерцатель, а как действующая косточка мира.

Шла по миру война. А мы шли с бабой Маней от деревни к деревне, чтобы выжить в ней.

До следующей деревни шли долго. Успели и поесть, и поспать на траве. Изредка нам попадались люди, шедшие навстречу. Баба Маня справлялась о какой-нибудь деревне, в какую сторону идти, куда дальше, где ближе. И единожды нам попала пара: сухонький дедушка и пухленькая девочка. Ну как мы, только всё наоборот!

Пока старики наш разговаривали между собой, мы с девочкой молча смотрели друг на друга, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что делать.

Такую парочку я видел впервые. Что-то в моей голове не вязалось с ее внешним обликом. Наконец я спросил девочку:

– Вы нищие?

Я не раз разглядывал нищих в Писцове. Чаще это были калеки, обязательно вдвоем и еще с палками. А поскольку мы, с Бориской в особенности, на базаре были им конкурентами, к тому же более проворными, то я сам, не понимая этого, узнавал их по быстрой перемене во взглядах – от слезливости до угрозы. Они, короче, казались мне злыми и опасными. А эти – ну как мы: только худой, как я, старик и пухленькая, как баба Маня, девочка.

– А вы не нищие? – ответила девочка вопросом на вопрос.

– Нет, мы горемычные, – простодушно и почти гордо ответил я.

Наши бабушка и дедушка рассмеялись. Короткое знакомство закончилось весело. Однако после этого нам пришлось изменить маршрут, потому что заходить в деревню, где только что побывали другие попрошайки, бабе Мане показалось нехорошим признаком.

Идти, однако, опять пришлось долго. Зато баба Маня обстоятельно рассказала мне, кто такие горемычные:

– Это те, у которых горе, беда большая. Вот они и мыкаются.

– А какое у нас горе? Мы разве мыкаемся?

– Мыкаемся. Как все. Теперь у всех беда, – глядя вперед, ответила моя спутница, – только мы с тобой последние за своим счастьем.

– Это мы – как в очереди за хлебом? – спросил я.

– Почти. Ведь нам люди от себя отрывают. А как перестанут?.. Мы первые помрем. – Баба Маня произнесла это легко, буднично и с улыбкой глянула на меня.

Что-то тут было не так. Хотя я и устал от дороги, зато впервые за памятное мне время был сыт. И наше путешествие казалось мне благим, более предпочтительным состоянием, чем каждодневные рысканья с братом в поиске чего-нибудь съестного. Ведь у мамы мы ели раза два в день и понемножку. Остальное мы добирали в вольных гуляниях. Долгая прогулка с бабой Маней мне больше пришлась по душе. Получалось, что неплохо быть последним.

Но меня растревожила не моя смерть, если нам перестанут подавать, а беда, которая у всех. Никак не верилось, что я умру первым. И я спросил:

– Баба, а от беды все могут помереть?

Баба Маня задумалась. Было видно, что разговор перестал ей нравиться. Но все же ответила:

– Чем больше беда, тем больше мрут люди... Война сейчас, Марик. Горше беды не бывает.

– Так она всегда идет. Всё про нее и про нее говорят. Все, и радио тоже. Я когда маленький был, она и тогда шла. Мама сказывала, как папа мой с братьями стеной стояли. С колыями от забора...

Как все маленькие, я думал, что живу вечно, то есть всегда, только не все помню.

– Потеха с тобой, Марик! То не война была, а баловство одно. С немцем-то так не повоюешь.

И все же, хоть горизонт моего видения раздвигался, я не представлял еще, как огромен мир. И война мне воображалась большущей дракой стенка на стенку, где в каждой из сторон собраны все силы, и они бьются, пока какая-нибудь из них не издохнет. По моим представлениям, это происходило где-то под Ивановым, большим городом, который чаще других упоминался взрослыми и куда был призван мой отец. Отца я не помнил. Но он мнился мне могучим богатырем, устрашающим врагов и покровительственно поглядывающим в мою сторону.

Странное дело: я его не видел, а глаза представлял (по злой иронии судьбы, он вернулся с войны слепым). А вот женщину с грудничком, что жила в нашем общежитии, я помнил всю до пят, кроме глаз.

Солнце тем временем клонилось к вечеру. Когда мы входили в деревню, баба Маня предложила посидеть в стогу сена и немного подумать. Она тоже устала.

– Будем обход делать или на завтра отложим? – спросила она меня, когда я присел сбоку и положил ей голову на колени. – Еды у нас на сегодня и на завтра хватит. Можем и передохнуть.

– Не знаю, – ответил я без интереса.

Баба Маня достала баночку и, потревожив меня, помазала свои ноги какой-то пахучей мазью, которой пользовалась и раньше. А я уполз, увлекшись всяческими букашками, жучками, стрекозами. Вокруг все свиристело, прыгало, мельтешило. И запах сена забивал запах мази.

– А не переночевать ли нам в этом стогу? – спросила еще баба Маня. – Выкопаем пещерку, да и закроемся в ней.

Я пришел в восторг от этой мысли: никогда такого в моей жизни не было.

Мы пошли к ближайшей же избе попросить воды. Но нам не пришлось даже стучать. Нас заметили и уже поджидали у крыльца. Надо сказать, что вообще жители крайних, первых или последних, домов в деревнях живут настороже и более чутки к тому, что происходит вокруг.

Пожилая женщина, с палочкой, приветливо расспросила нас, кто мы, откуда и куда путь держим. В ответ на нашу просьбу она поставила перед нами небольшое ведро с плавающим железным ковшом, из которого мы тут же досыта напились. И баба Маня начала наливать из него в припасенную бутылочку, которую обычно, если она была полна, привязывала веревочкой за горлышко к горловине своего походного мешка. Но руки ее не слушались – вода лилась мимо.

Женщина вынесла жестяную воронку – и все получилось здорово. Наблюдая за этим, я опять поразился, как умны люди. Сейчас я улыбаюсь: наверняка воронку я видел и раньше, но уловил ее смысл, когда он коснулся меня самого. К сожалению, многое приходится постигать лишь в непосредственной связи. Но есть люди чувствительные, постигающие смысл событий до их происшествия.

Женщина, нас встретившая, поняла, что мы думаем о ночлеге, и сама предложила нам переночевать в доме: «Тем более, что невестка не вернулась ко времени и места достаточно».

– Вот только покормить мне вас нечем, а выспаться – пожалуйста, – добавила она.

Слова эти нас не испугали. Но меня расстроило, что пещеру мы строить не будем. В доме на кровати, под цветастым, из лоскутков одеялом оказался еще один человек, мужчина болезненного вида, который, однако, оживился с нашим приходом, сел, поздоровался. Откуда ни возьмись, появилась и кошка, которая, как потом выяснилось, хорошо поедает сушеные грибы.

– В лес мы уж больше не ходим, – пояснила хозяйка. – Невестка с торфоразработки прямо сушеными приносит. Иной раз и еды в бидоне принесет. Там неплохо кормят, карточки дают, да и денег немного. Заступница наша. А вот сын-то, муж ее, погиб... Уж полгода как...

И женщина расплакалась. Чувствовалось, что ей не под силу носить в себе горе.

– Лизавета, перестань. Молись, чтоб двое других вернулись, – высказался мужчина с кровати.

Пужинали все вместе, соединив всё, кто чем богат. Перед сном баба Маня помыла мне ноги, и себе, конечно. Охлажденные, они полегчали. Меня уложили на большом сундуке. Бабе Мане предложили боковую лежанку вдоль печки, в двух шагах от меня.

Уснул я быстро. Когда сыт, это получается легко. А проснулся среди ночи и захныкал. Потом сел и заревел, чтобы подать сигнал. Потому как весь я был мокрый.

Баба Маня быстро ко мне поднялась. Встала и женщина Лизавета, подошла к нам с зажженной лучиной.

– Ох уж старая я стала престарая, – запричитала баба Маня. – Мне же Дуся клеенку дала, а я о ней и не вспомнила.

– Да не переживайте, Манечка. Эка событие – мальчик обсикался. Все постирается... Давайте только крышку откроем, пусть сохнет.

Но просыхать ничему не понадобилось: мокрота, как выяснилось, стекла по бокам сундука, снаружи. Баба Маня перекрестилась и положила меня с собой досыпать, пристроившись сбоку.

Утро пришло солнечно-светлым. Легкий туман поднимался с низин. Петух зашел в сени и доклевывал не догрызенный кошкой сушеный гриб. Я заметил это, пока выбежал во двор пописать. Впервые мне не хотелось есть с утра. И впервые пришло ощущение, что мне нравится жить.

Нас угостили чаем, настоянным на черных хлебных корочках. Дали с собой горстку таких корочек, несколько ниточек с нанизанными сушеными грибами и крошечный кусочек мыла, «для мальчика», – сущее богатство по тем временам. Баба Маня горячо благодарила хозяев за приют и подарки. Спросила об именах их сыновей и обещала помолиться за каждого. Все мы, несмотря на мой ночной грех, остались довольны друг другом.

– А как твою родную-то бабушку зовут? – спросила меня напоследок хозяйка, уже с крыльца.

Баба Маня легонько сдавила мне руку, но я не придавал этому значения. Ответил искренно, простодушно, даже подражательно:

– Не знаю. Дедушка всегда зовет ее: ма-а-ать!

Женщина на это улыбнулась и помахала нам рукой.

Через годы, когда я уж сам мог задавать подобные вопросы, я узнал, что мою родную бабушку зовут Елизаветой Макаровной. Никакого таинства, однако, в этом совпадении нет. Елизавет тогда по России было много. При всей громадности наших пространств общность корней у нашей нации, как ни у какой другой, хрестоматийна, несмотря на зыбкость семейных уз. Где-то очень любят выстраивать генеалогические древа, и для поколений они более важны, чем судьба нации. У нас же эти древа рушились и скреплялись через судьбу нации, и в именах передавались память и любовь к бабушке, матери, теткам, сестрам. Беда только, что нынче внучек и внучат мало. И многие имена остаются невостребованными, а потом забываются вовсе. Новый, рукотворный суховец пронесся над страной на исходе века.

Баба Маня не стала корить меня за мой ответ. И мы приступили к делу. В доме напротив нам сразу подали горячие еще, картофельную и хлебную, лепешки. Баба Маня сообразила, что день выходит на воскресенье: дымы тянулись из нескольких труб. Реальная примета!

– Нам бы чуть переждать, – сказала она. – Глядишь, побольше повезет.

Дома по улице стояли крепкие и ладные. Смотрели друг на друга широкими окнами-глазницами. Разряжены были цветастыми фартуками-палисадниками, с просторными на задах подолами огородов. Деревня излучала достаток и, видимо, гордилась им. Едва ли не плясать хотелось перед ней.

Но мы, умные, свернули в проход между домами и по тропочке поднялись в небольшую рощу. Это оказалось кладбище. Оно тоже было ухоженным. Баба Маня присела на скамейку возле могилы, повесила на крест мои мокрые с ночи трусики, отломил пол-лепешки и со словами: «Поешь, пока теплая», – отправила меня «погулять маленько, но не ходить далеко». Я пошел поглазеть вокруг, есть ли что интересное.

– В траву большую не ходи, Марик, а то по уши будешь мокрый, – догнало меня еще одно напутствие.

В воздухе было покойно. Птицы хлопотали на ветках, чистя оперенье и пробуя голоса. Ворона удивленно глянула на меня сверху. Могилы, ограды, кресты, кусты и деревья – все жило в обнимку и цепенело в тихом умиротворении. С того, видимо, раза я полюбил кладбища. И в зрелые годы, когда уставал нещадно от повседневной маяты, ехал на какое-нибудь кладбище, чаще всего один, и бродил среди могил, табличек, законченных судеб. И набирался успокоения,

сознания суеты и тщетности многих потуг и амбиций. И возвращалось душевное равновесие. Все это будет потом...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.